Благодать
Наталья Гарбер, 2005,
из книги «Джем»

Игуменья Толгского женского монастыря Варваре посвящается

На последних курсах университета я наладилась от ВООПИКа ездить на лето в Толгский женский монастырь. Дело было в конце восьмидесятых, в те времена на волне Перестройки церкви возвращали часть разграбленного у нее в 1917-м году имущества, и монастырь попал в этот поток. Территорию освободили от заключенных Ярославской воспитательно-трудовой колонии малолетних преступников, которая обитала в священном месте последние лет десять, и Церковь прислала туда несколько монашек во главе с игуменьей Варварой и священником. Они огляделись и тут же объявили народу, что никакая помощь не будет лишней. И это была чистая правда.

Центральный храм был взорван еще в Революцию, но устоял – только стены кое-где потрескались и на них рваными ранами сияли варварски сбитые долотом и опаленные взрывами ослепительные фрески. За годы советской власти над монастырем потрудились дожди, ветра и снега, так что храм и остальные здания монастыря нуждались теперь в реставрации еще и от старости и дурного обращения.

Они стояли на загаженной территории, покрытой тремя слоями строительных отходов и прочей дряни настолько, что на ней давно ничего не росло. По всему периметру монастырских стен шла колючая проволока, остатки реликтовой кедровой рощи жалобно стонали и шептались, а все новые постройки были созданы только для тюремной жизни. Пришедшим на эти развалины монашкам, строителям и добровольцам вроде меня предстояло отремонтировать здания, оживить землю, вырастить рощу и призвать сюда Божью благодать.

По зову церкви в монастырь нагрянули строители и добровольцы – люди разные, от истово религиозных верующих до крепких шабашников безо всякого религиозного чувства. Однако Варвара работников отбирала аккуратно, потому что ни до, ни после моего приезда в монастыре не было ни одного серьезного инцидента. Я попала туда летом после четвертого курса и застала жуткое наследие воспитательно-трудовой колонии в полном объеме, впервые живо ощутив, что такое тюрьма: заключенных и замков на территории вроде уже не было, но ощущение гибели было во всем – даже воздух внутри стен с колючей проволокой отличался от того, что за воротами.

Когда мы начали реставрировать эти руины, общаться с монашками и рабочими, меня сильно поразили и сообщество, и обстановка. Монашек было мало, рабочих много, паломников, вроде нас, тоже мало, все со всеми общались очень просто, а атмосфера благого дела очень поднимала настроение. Работа была сначала ремонтная: мне при моем хорошем вестибулярном аппарате доверили без страховки спускать в ведрах грязь и землю с десятиметрового алтаря центрального храма – того самого, чьи устоявшие при взрывах стены и изуродованные яркие фрески так меня поразили.

В свободное от основного дела время нас послали пилить дрова, и тут я заметила, что монашки очень медленно работают: добровольцы на их фоне были просто торнадо. Несколько дней мы очень собой гордились, а потом обнаружили, что валимся с ног от усталости и кашляем черным от алтарной грязи, а монашки держат тот же ровный темп и отлично себя чувствуют. Через пару дней наше ВООПИКовское руководство выгнало нас работать под проливной дождь, и тут я увидела, что игуменья Варвара своих монашек и послушниц распределила работать в помещении. Я оценила разумность монастырского управления кадрами и ушла на кухню мыть посуду – да там и осталась.

Кухонные дела мои быстро пошли на лад: там умело заправляли две послушницы – девушки простые, поселковые, из глубинки. Ладная Зинаида из Чувашии, под началом которой я драила бесконечный поток чашек и мисок, могла спеть любой мотив на три-четыре голоса, а тихая

волоокая красавица Наташа из Тверской губернии просто была солнечный человек: заглянет в комнату – так даже погода проясняется.

Зинаида стала моей главной наставницей по части всего религиозного: от нее я узнала, что они с Натальей послушницы, а не монашки, то есть обетов еще не давали, и что обетов три – про послушание, безбрачие и нестяжательство. Еще я узнала, что в послушницах можно три дня пробыть, а можно тридцать лет, потому что «как матушка решит, так и будет», и что если послушница уходит из монастыря, греха на ней нет, потому что пока обетов не дано, она свободна.

Зинаида ведала всей уборкой на кухне, а красавицу Наташу поставили на готовку и раздачу еды. Три раза в день к ней тянулись грязные рабочие руки голодных мужиков, и даже второпях и через маленькое окошко, в которое она выдавала им миски и чашки, строители быстро разглядели Натальину красоту. Так что теперь трижды в день она шарахалась от настырных глаз, краснела от строительных шуточек и потом прибегала к нам жаловаться: «Я же в монастырь ушла, как раз чтоб их не видеть – и надо ж так: только с ними и верчусь. И ведь еще ужасть их сколько, ужасть! И лапищи тянут!» «Это тебе послушание такое – терпи, – назидательно говорила Зинаида. – Матушка знает, кому какое дело дать». Наталья на это руками своими красивыми всплескивала, головкой точеной качала, но смирялась. «А тебя, Зинаида, не в хор, а к мойке с твоим голосом тоже для послушания поставили?» – приставала я. «Конечно», – отвечала Зинаида, нимало не смутившись.

В перерывах между трапезами, когда поток грязной посуды временно иссякал, мы шли петь и читать Библию – ничего иного в таком месте делать было нельзя. За несколько дней на кухне я быстро освоилась, развеселилась и, хохоча, столкнулась на пороге с какой-то пожилой монашкой. «Зубы не показывай!» – строго приказала она мне. Я опешила и пошла к своей наставнице: «Зин, а почему зубы нельзя показывать? А смеяться почему плохо?» «Уныние – грех, а печаль пристала нам, потому что Спаситель наш распят, – чинно ответила Зинаида. – И вправду, не монастырский у нас с тобой дух был. Во испытание ты мне со своей смешинкой».

«Ну-у-у-у, – разочарованно протянула я, уже привыкшая к кухонному веселью. – А радоваться можно?» «Радоваться – да», – улыбнулась Зинаида и затянула «Царице моя Преблагая, надеждо моя, Богородице...». Голос у нее был красивый, чистый, слух идеальный, и владела она своим песенным даром от природы. Я заслушалась и притихла.

Через пару дней я нашла у Зинаиды еще один художественный талант – ее куда-то послали по делам, мы разминулись, и она написала мне записку, что да как делать в ее отсутствие до вечера. У нее оказался красивый, круглый почерк с легкими завитушками, при виде которого я, всегда царапавшая как курица лапой, пришла в восхищение и вечером попросила: запиши мне что-нибудь – молитву, текст, что-то на память. «Я подумаю, – загадочно сказала Зинаида, – а ты пока исполняй свое послушание». Я не перечила – можете не верить, но мне вообще-то нравится мыть посуду. А в те годы внутри меня и в стране вообще был такой бардак, что делать грязные горы посуды чистыми аккуратными стопочкам было самой что ни на есть осмысленной работой. И я вертелась у мойки, как юла: в монастырь все время приезжал народ и ел, ел, ел, так что чашки, ложки, кружки, крынки, миски шли в Толге потоком. А мы их мыли, мыли, мыли. И были счастливы.

За пределами трапезной монастырь жил совершенно неизвестным мне уставом, так что через какое-то время я решила разобраться в его правилах поподробнее. За спиной у меня было четыре курса мехмата, так что я быстро замучила Зинаиду требованиями логических доказательств правил их жизни и религиозных представлений. Послушница считала эти разговоры своей просветительской миссией и терпеливо отвечали мне на глупые вопросы вроде: почему нужно улыбаться? Зачем кого-то прощать? Чем докажете, что надо выполнять заповеди?

В общем, в тот первый мой приезд я с неделю промучилась от непонимания новых для себя правил жизни, а потом стала замечать, что верующие вокруг меня очень сочувственно относятся к мучениям, которые... я сама же себе и устраиваю. При этом они все спокойно продолжают следовать своим загадочным правилам, от которых им очевидно хорошо. И мне говорят: а ты просто попробуй – все вопросы-то и пройдут сами собой. Осознав это, я поняла, что они все

счастливы в результате своих правил, а я от своих только устаю. Через полдня я устала достаточно, чтобы мне просто надоело придерживаться старой линии, и стала обезьянничать: они улыбаются, и я улыбаюсь, они отступают, и я отступаю, они смиряются, и я смиряюсь. И мне тоже стало хорошо.

Единственное, что меня смущало, так это Божья благодать: на кухне и в храме все говорили про нее, а я вдруг поняла, что совершенно не знаю, что это. Как обычно, я пристала к Зинаиде и она ответила как Отче наш: «Монастырь распространяет благодать вокруг себя. На тридцать километров». Я поразила точности радиуса воздействия и спросила опять: «А что такое эта благодать-то?» «А это то, что монастырь распространяет вокруг себя на тридцать километров», – нимало не смутившись, ответила послушница. Я похихикала над закольцованным ответом и... потянула ее в яблоневый сад отдыхать, потому что в потоке наших мисок наметился редкий перерыв. А то, что ответы на мои вопросы ничего мне не дают, я уже и так поняла. И расслабилась. В саду около кухни мы завалились под яблоню, Зинаида запела – и я вдруг все-все поняла про благодать – безо всяких слов.

В результате я просто стала мыть посуду, косить траву, доить коров и делать прочую работу – и это замечательно отвлекло меня от тягот Перестройки и освежило мою жизнь, засушенную математикой. А через недельку обнаружила, что в маленькой каморке при монастырских коровах живет сказочно красивый и румяный дед с седой бородой. Он был старшим по покосам. Я напросилась к нему, он глянул на мой городской вид, но согласился научить косить. В пять утра меня разбудила Зинаида и вместе с маленькой группой монашек вывела за ворота. В луга нас довезли на открытом старом грузовичке. С него было видно, как над Ярославлем поднималось красное зарево – в городе, видать, все еще работали вредные производства и утром, когда воздух свеж и прозрачен, это особенно ощущалось.

Мы слезли с машины, дошли до лугов, дед объяснил новичкам, что тут к чему, и мы начали махать по траве. Я приноровилась, монашки запели – и я вошла в ритм покоса тринадцатого века, когда монастырь был только основан, и такие же разношерстные люди строили его, косили монастырским коровам сено на лугу и пели в полях. А Ярославль, поди, был тогда еще деревней.

Через несколько часов мы сделали перерыв и пока пили на сене молоко, дед осмотрел покос и остался доволен моим участком. «Городская, а рукастая», – пробасил он. Я была довольна так, как ни на одном университетском экзамене.

Сено стали сметывать в стога. Оказалось, что свежескошенная трава очень тяжелая – даже маленькие копны было ужасно сложно поднять, и я вся испыхтелась, пока приноровилась. Обернулась на других – думаю, может, какой секрет увижу. И увидела: моя Зинаида чуть присела, взяла на вилы огромный стожище и играючи понесла его к основной копне. Водитель грузовичка восхищенно зацокал, наблюдая маленькую складную бабу, легко вышагивающую с огромной ношей: «Ах, какая баба! Ах, какая мамка!»

Меня тоже очень занимал вопрос про детей. То есть, как же Зинаида станет монашкой и у нее не будет детишек. Ей, такой умелой и складной, очень бы подошли детки. Я как-то спросила ее об этом – и тут она впервые ушла от ответа, обойдясь рассуждением о любви к Богу, которое меня совсем не устроило. Но я решила, что это уж очень личное дело, и не стала больше приставать. А сейчас, глядя на спорую Зинаидину работу, опять пожалела, что деток-то может и не быть.

Собрав стога, мы поехали обратно. Когда я прыгивала с машины, моя ситцевая юбка зацепилась за что-то и порвалась аж до пояса. Получилась юбка с глубоким разрезом. Монашки прыснули, я запахнула юбку, добежала до жилья, заколола подол английской булавкой и пошла на кухню: зашивать было некогда, раковины были уже полны грязных мисок и кастрюль. Мы тогда с Зинаидой провозились с потоком посуды до вечера – был какой-то праздник, и народу привалило больше обычного. Вечером я еле живая рухнула в кровать.

Дня через три на дорожке на меня уставилась какая-то приезжая тетка – ткнула пальцем в разрез да как завопит: «Постыдно, постыдно!» «Только ты и заметила», – отрезала я: вокруг шел народ, и мне было неловко. Хотя и правду – все три дня я проходила в таком виде, и что-то никто мне под юбку не лез: в монастыре дельных работниц по-крестьянски уважали, а у меня за прошедшую пару недель сложилась хорошая репутация. Так что никто от моего одеяния ничего

неподобающего не ждал – может, потому и не заметили. Но все-таки – тетка права, негоже среди монашек и строителей ходить с таким разрезом.

Днем на шитье времени, конечно, не нашлось, зато ночью, прежде чем заснуть, я нашла нитку с иглой и крупными стежками через край зашила юбку. А когда утром надела, обнаружила, что в темноте сделала шов наизнанку: теперь как ни надень – один шов наружу, другой вовнутрь. Модерновенький такой дизайн. Ну и ладно, подумала я – зато все прикрыто. И побежала на кухню.

По дороге наткнулась на деда-косаря – он остановил меня и сказал: «Хорошая ты девка. Я договорюсь, чтоб тебе место в монастыре дяржали до 25 лет, хочешь? Бросай ты свой унивьярсятет, будешь мяне портянки стирать». Мне в то время был 21 год и университет мне вправду надоел, но идея вместо него засесть навеки в монастырь мне «не показалась» – мехмат-то закончится через годик, а монастырь – нет. И потом идея про портянки была как-то... не свежа.

Но все-таки я остановилась и впервые задумалась о своих отношениях с Толгой: мне здесь очень нравилось жить, но принадлежать я ничему не хотела – ни городу, ни деревне, ни монастырю, ни комсомолу, ни семье, ни службе. Я была в монастыре по своей воле, ничто меня здесь не держало, кроме нее, и в этой свободе была половина радости от общения и работы. И потом – я верующую Зинаиду-то жалела за то, что детишек не будет, а тут мне, которая все время смеется и зубы кажет, предлагают постриг. Дед мое молчание понял по-своему и сказал: «Ну, ты подумай». Я не хотела его обижать, неопределенно повела плечами и помчалась к Зинаиде.

Разговор для старика оказался не праздный: после того раза он несколько дней за мной наблюдал, а потом на очередном покосе вдруг усмехнулся и сказал: «Верно ты ня согласилась. По работе тебе в монастырь можна, это да. А по шустрости – няльзя». Монашки рядом понимающе заулыбались, вопрос был исчерпан, и мне полегчало. Но, так или иначе, я в Толге прижилась: им от меня было хорошо, и мне от них – радостно.

А еще через пару недель мы выяснили, что у деда нашего есть жена в деревне, при ней семеро дедовых детей и младшему из них еще десяти нет. «Ай да дед! – восхищалась я. – А еще звал к нему портянки стирать. Ай да шалун!» Дед в ответ на мои шуточки заулыбался в усы, но достоинства не потерял. Он вообще его не терял и был в большой чести у матушки, потому что дело свое знал, работал с утра до вечера, не пил и со всеми ладил. По деревенским меркам он в монастыре очень хорошо зарабатывал, да еще трапезничал бесплатно, так что все его доходы шли на семью. Выходило, что по всем статьям наш дед был справный мужик, да еще и с юмором.

Вообще, несмотря на распространенное предубеждение, что в монастырь идут от неудачной жизни в миру, среди постоянных жильцов монастыря, вроде Зинаиды с Натальей или сезонных, как мы с дедом, было больше справных баб и мужиков, чем в потоке любопытствующих паломников или приживалок из округи.

Игуменья Варвара как-то объяснила мне, что основная масса приезжающих больше съедает, чем привозит и не окупает свое пребывание работой. Однако на сотню убыточных иждивенцев всегда приезжает один дельный человек, который либо привозит что-то в дар, либо работает так, что в целом монастырский бюджет прибавляется. Много лет спустя, занявшись бизнесом, я узнала, что игуменья практически процитировала мне знаменитый закон Парето: двадцать процентов клиентов приносят компании восемьдесят процентов дохода, а остальные 80% – оставшиеся 20%. Однако если в монастыре не будет потока нерентабельных легкотрудников, за которыми мы мыли горы посуды, то не пойдет по городам и весям народная молва. И тогда не приедет в Толгу тот «золотой паломник», кто сторицей окупит затраты на поток.

Меня тогда очень впечатлила бесстрашная монастырская экономика: ведь нет совершенно никаких гарантий в том, что приедет кто-то, кто окупит убыточные затраты на поток паломников. А если монастырь не рассчитает своих сил, ему придется туго. Но Толга спокойно пользовалась проверенным веками принципом и успешно поднималась из руин. Через много лет, расспрашивая успешных владельцев поднятых с нуля российских бизнесов о том, как им это удалось, я снова услышала этот лейтмотив: если ты идешь своей дорогой, просто будь тверд и постоянен, и удачный случай найдет тебя. А тогда, на заре Перестройки, не зная, чья тарелочка – «золотая», мы

на совесть мыли всю монастырскую посуду, что проходила через наши руки по три-четыре раза на день.

Как-то вечером я после службы по делам ожидала священника – и простояла с ним рядом минут пятнадцать, невольно подслушав, что и как рассказывают ему люди после службы. Это даже не были исповеди, а просто просьбы, жалобы и напоминания, но у меня возникло чувство, что беднягу просто поедают проблемами. Я искренне порадовалась простоте и необременительности работы посудомойки и впервые задумалась о том, какими силами священник выдерживает проходящий через него поток людских страданий. Ведь я обессилела от сострадания за пятнадцать минут, а для него такое общение – почти круглосуточный каждодневный труд. Я прониклась глубочайшим уважением к его работе.

После этого я пригляделась к постоянным жильцам Толги: монашкам, послушницам, священникам, верующим рабочим – и поняла, что у них очень здоровая психика, просто загляденье. Может, поэтому паломникам в монастыре так легко. Конечно, как в любом женском коллективе с большим потоком гостей, там бывали конфликты, разочарования и горести, но все они как-то умещались под покровом благодати, которая – поверите ли? – действительно распространялась на тридцать километров вокруг. Наверное, это случалось оттого, что целью жизни и главной работой живущих в монастыре было обретение и распространение этой самой благодати. И их нелегкий труд в сложные времена перемен приносил свои плоды – в монастырь стекались силы, он оживал на глазах – одновременно оживали приезжие паломники, кем бы они ни были.

В последний год учебы в МГУ мы с подружкой-москвичкой, обретенной мною за время летней жизни в монастыре, ездили в Толгу где-то раз в месяц на выходные: вечерним поездом до Ярославля, а там автобусом до деревни и пешком по ночному пригороду до монастыря. Никогда нас никто не обидел, хотя времена были смутные, а места – пустынные. Один раз нас догнали на темной дороге к Толге здоровенные парубки. Подруга моя уж было испугалась – и зашептала мне что-то, как вдруг они сказали: «А можно, мы с вами пойдём? А то темно больно тут!» Я рассмеялась, и мы дошли вместе – мы до монастырской проходной, а они – до соседних дач.

Через много лет я приехала в Толгу на майские праздники на машине: случайно рассказала приятелю про свое давнее паломничество, и мы решили съездить посмотреть, как там теперь. Нас встретил цветущий монастырь, похожий на игрушку, ослепительные фрески на галерее главного собора и роскошный алтарь, с которого я когда-то травила ведерки с грязью. Мы подивились отстроенным и нарядным домикам и ухоженным клумбам, заглянули через решеточку в прохладную кедровую рощу, а потом разошлись побродить каждый сам по себе – и я пошла искать Зинаиду. Я медленно шла на кухню через цветущий яблоневый сад и легко дышала: за перестройку Ярославские производства рухнули, как и вся промышленность в стране, над городом больше не стояло зарево вредных отходов – и ничто не мешало сладкому аромату, разливавшемуся над Толгой. Благодать!

Проскользнувшая мимо монашка показалась мне знакомой, я догнала ее и узнала волоокую Наталью. Мы поздоровались, обрадовались встрече, слово за слово – и я спросила про Зинаиду. «Ушла Зинаида, – пожав плечами, ответила мне Наталья. – Аллергия у нее возникла на порошки, не могла больше посуду мыть. Все руки обсыпало, она и ушла». Памятуя, что игуменья давала работу для испытания, я не стала спрашивать, почему-де мою ловкую и работающую Зину не пристроили к другому делу. Не пристроили – значит, не захотели.

Вообще-то через год знакомства со мной Зинаиду перевели на новую территорию: монастырю дали какие-то хозяйственные постройки в нескольких километрах езды, и она трудилась там. Обнаружив это в тогдашний очередной приезд, я пошла просить благословения у игуменьи поехать повидаться с подружкой: монастырская машина ходила в те края каждое утро. Варвара глянула на меня сурово и ответила: «Это монастырь. Мы к сестрам родителей, бывает, не пускаем, а тут знакомые. Не надо». Так что уже тогда, лет пять назад, немонастырское веселье наших встреч заметили и пресекли, но обманывать, тем более, через столько лет, здесь не станут. Не захоти Варвара снова нашей встречи – просто отказала бы, как тогда и все: перечить я бы не стала, как и прежде. Толга – редкое место, где я уважаю запреты.

Значит, Зинаида и вправду ушла из монастыря детишек рожать. Я обрадовалась и подумала, что раз это оказалась ее судьба, то я не даром была послана ей «во испытание». И хотя я теперь потеряла ее из виду окончательно, но от такого поворота судьбы у меня на сердце вдруг стало легко, как я яблонево́м саду – хорошо, что она ушла. Ей семья больше подходит, как и певучее веселье, за которое меня монашки упрекали. И вообще – не хватало нам частушек на покосе – вот теперь Зина, Бог даст, распое́тся в каком-нибудь чувашском хоре. Или она где-то ближе?

«И где ж теперь Зинаида?» – полюбопытствовала я у Натальи. «Ушла, так мы теперь про нее не ведаем. А ты часы у нас забыла, сестра». «Когда?» «А вот как оставила, так и храним. Много лет они здесь уже. Пойдем, отдам – я теперь ведаю паломническим корпусом и все утерянное берегу». Я слегка опешила и пошла за ней, по дороге силясь припомнить хоть что-то про утраченные часы, но не смогла. Наталья, похоже, хорошо прижилась в монастыре за эти годы: от нее шло тепло и спокойствие, и я легко шагала за ней по дорожкам, обсаженным цветами.

Она привела меня в комнатку при паломнических палатах и вынула из ящичка коробку из-под обуви, в которой лежала масса мелочей – брошки, несколько часов, нательные иконки, кольца и даже портсигар. Монашка вынула маленькие дешевые дамские часики и протянула их мне: «Это твои». «Не помню». «Зато я помню». «А если ты ошиблась, и я чужое заберу?» «Ну, тогда вернешь, как Бог велит. Бери», – сказала Наталья настойчиво. Я подумала – в последний раз я была здесь семь лет назад – не отказывать же мне человеку, который так долго хранил мою вещь в полуразрушенном бедном монастыре, ожидая моего возвращения.

Я взяла часы, поблагодарила, Наталья завернула часы в бумажку и перекрестила меня. Мы попрощались, я нашла приятеля и поехала домой. По дороге он долго молчал, а потом сказал: «Я стоял в церкви, а от них шло тепло. От монашек. Это может быть?» «Легко, – ответила я и спросила почти шутя: А благодать от них шла?» Мужик серьезно задумался и ответил: «Да, хоть я и не знаю, что это. Но что-то было. Вот даже тут – иначе, чем там», – и он ткнул пальцем в сторону уходящего вдаль шоссе.

Я рассказала ему историю про часы, он заинтересовался и спросил, остались ли у меня фотки с тех пор – хотел посмотреть, как Толга выглядела в те годы, когда шла реставрация. По возвращении я полезла на антресоли и достала альбом. Приятель стал разбирать пожелтевшие картинки, тыкал пальцем в фигуры, а я объясняла – это подъезд к еще полуразрушенному монастырю, на другом фото Наталья в трапезной, дальше Варвара выходит из своей черной «Волги», это дед-косарь в лугах, а вот карточка с дядей Сашей и Алешкой...

«А это кто?» – приятель вытащил фотографию, на которой мы с Зинаидой пели в яблонево́м саду. Я пригляделась: на руке нее были часы – те самые, которые теперь лежали у меня в кармашке. Я вынула их и расправила бумажку, в которую они были завернуты – на листочке незабываемо красивым Зинаидиным почерком было написано: «Царице моя Преблагая, надеждо моя, Богородице, приятелище сирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице. Зриши мою беду, зриши мою скорбь. Помози ми, яко немощну, окорми мя, яко странна. Обиду мою веси, разреши ту яко волиши. Яко не имам иныя помощи, разве Тебе, ни иныя предстательницы, ни благия утешительницы, токмо Тебе, о, Богомати. Яко да сохраниши мя и покрыши во веки веков. Аминь».

Я не ношу часы – чувство времени в последние годы так хорошо установилось во мне само, что я рассчитываю свою жизнь по внутренним ритмам. Но Зинаидины часики храню – вместе с мелодией этой молитвы и запахом утреннего покоса, вместе со всем, что питает и греет мое чувство силы и внутреннюю музыку. Все эти годы во мне тикают счастливые часы: восстановленное из руин время радости созвучно поет во мне – и вокруг. Может быть, именно это и есть благодать.